

А р а н а с и й    М А М Е Д О В

С У М Е Р К И    В    А Л Ь Б А Й С И Н Е

*Ларе и Владу Игониньм*

Женщина — типаж «светская львица неопределенного возраста», — похожая на ту, что уже пару недель победоносно рекламировала отечественную вакцину на билбордах вдоль трасс, возле метро и в самом метро, поставила чашку с дымящимся кофе перед немолодым образцово благообразного вида мужчиной, как делала это по утрам, если вдруг случалось, что она просыпалась раньше него. Но такое редко бывало. Особенно после того, как они оказались на карантине.

Сначала жили на даче в Кратово у ее кухни среди вековых сосен, потом, когда почувствовали, что становятся в тягость кухне и ее соснам, снова съехали в город. Поближе к киностудии, к долгой, затяжной зиме...

Темнело рано, но спать ложились они поздно: все смотрели фильмы на «Нетфликсе» и «Кинопоиске». После каждого удачного просмотра — таковые, следует отметить, случались довольно часто, — он говорил ей, что жизнь его прожита зря.

— Вставай раньше, пиши... — обижалась супруга, и, покрываясь красными пятнами у высоких скул, добавляла: — Позвони Николаю Степановичу, возьми мастер-класс на следующий год...

— До следующего года еще дожить надо. — И задумчиво смотрел в черноту окна, будто видел там то, что ей не дано было разглядеть.

Николаю Степановичу он не звонил и не думал, а вот раньше вставать начал.

Убеждая себя в том, что для творческого человека оторванность от мира — лучшее, что только может с ним случиться, он тихонечко шел с ноутбуком на кухню или так же, стараясь не шуметь, отправлялся в гостиную на диван.

Выражалось это «лучшее» в долгом сидении перед экраном ноутбука и было все, на что он оказывался способен.

Никто, кроме супруги, об этом не знал. Но разве легче оттого ему было? А тут еще прилетела из Испании на черных коронавирусных крыльях страшная новость — не стало Ханны Гусман<sup>1</sup>.

С Ханной его связывало многое, больше, чем могла бы предположить жена. Ее уход из жизни он воспринял, как один из знаков недостижимого: супер-занавес опускается и надо торопиться сделать хотя бы главное из всего, что так щедро набросала когда-то молодость в другой жизни, в другом городе.

— Вот увидишь... — сказала «светская красавица», будто в ее задачу входило непременно поддержать его сейчас. И что самое обидное — поддержать, учитывая возраст и положение. Нынешнее положение — отправленного на пандемийный покой кавалера всех возможных крестов, звезд, медалей, лент и бантов по линии высокого искусства.

Он отпил голландского кофе — крепкого с едва уловимой кислинкой. Закурил дважды потушенную прежде сигарету до обидного слабого «Мальборо». Взглянул на свою фотографию «Сумерки в Альбайсине, или автобус на Сакромонте». Подсчитал в уме, сколько лет тому назад сделал этот снимок. В сущности, его «Сумерки...» — это даже не фотография, но целый фильм. И Вайншток оценил бы его. Если бы был жив. Он бы сразу понял, почему фотография не откадрирована, почему на ней так много бликующей в сумерках брусчатки и света от фар автобуса. Он уже не помнил, как сделал этот снимок, что побудило его расчехлить аппарат, помнил только, что холодно было. Как-то даже не по-испански.

— Думаешь, все еще будет? — Режиссер поставил чашку на блюдце, скрипнул стулом.

Она немедленно собрала свой носик в кроличьи складочки, как делала это больше двенадцати лет, когда сосед сверху запускал столярный станок, или как морщилась в спектакле «Три часа до полуночи».

— Ты можешь отодвинуться от спинки стула?!

Он вздохнул, вытянулся прямо. Что поделаешь: «его» стул скрипел от любого движения.

— Хочу тебя спросить... — Сделав две затяжки, он затушил сигарету в третий раз, но сделал это аккуратно, вероятно, рассчитывая закурить ее и в четвертый. Дело было не в том, что он сэкономил

---

<sup>1</sup> Ханна Лора Ваксель Гусман (1972–2020) — испанская писательница, историк литературы, театра и кино.

курево или боялся из-за «короны» лишний раз сходить в магазин. Просто этим летом ему стукнуло шестьдесят, и он вдруг почувствовал возраст. Почувствовал, как устал гнаться за кем-то и зачем-то. Захотелось снять маску бессмертного. По крайней мере, хотя бы это успеть сделать.

Женщина глянула на пепельницу и снова поморщилась, на сей раз уже как в «Трагических историях простых людей», в этом спектакле ее героиня страдала страшной мигренью, и перед каждым приступом у нее начиналась микропсия (она воспринимала окружающие предметы в уменьшенном виде, и вообще все происходящее для нее становилось менее значимым, чем для ее окружения). Это был хороший ход, но требовалось очистить его от всего лишнего, наносного, чего в пьесе хватало с избытком. Он хорошо тогда поработал, спектакль шел долго и собирал приличную кассу. Только вот со светом случались всегда какие-то проблемы. Когда нужно было показать «трансцендентальную вспышку», переживающей прошлое героини его всегда не хватало.

— Если ты снова об этом, то это глупо — спрашивать меня об этом. — Ей стало немного жалко и его, и себя, особенно сейчас, когда она слетела с сериального кастинга и узнала, что в новом спектакле главного для нее не нашлось роли. — Я могу рассказать тебе сама все, если захочу. Потом. Когда-нибудь...

— Твои «потом» и «когда-нибудь», похожи на запасной выход или потайные двери за гобеленом.

Вспомнил, что тот гобелен, который он сейчас представил себе, остался в закромах на Мосфильмовской: справляются ли, как прежде, «действующие лица» гобелена со своим миротворческим заданием?

— Забыла, как ее... тоже уходила за гобелен?.. — И веки свои томно прикрыла, и пальцами защелкала по-цыгански, как бы с их помощью надеясь припомнить то, что не забыла и никогда не забывала.

Она не уходила, эта несчастная загубленная душа, послушная Мельпомене, измученная ее безумством, она отползала в сторону другого режиссера, молодого, успешного, который жил, как в телефонную трубку орал, и в том, что вскорости он занял место главрежа, и в том, что «загубленная душа» все отползала и отползала, была немалая заслуга той, что запомнила сейчас, как же звали ее давнишнюю соперницу.

Что поделаешь — микропсия. Это все из-за нее одноэтажно светятся огни опальной Америки, Париж из большого оркестра превратился в уличного музыканта, а Москва, растерявшая свои театры, упрямо заканчивается то ли за Площадью Восстания, то ли за Кудринской. Да что там, даже антивирусная ампула казалась супруге режиссера бесконечно маленькой и бесконечно бесполезной, когда она снималась для рекламы. По крайней мере, так — с лукавым ящеричным прищуром — она демонстрировала ее практически на всех станциях метро.

— А он, этот твой Леонардо... — не отставал от супруги мужчины, — разве не через ту же дверь себя вытащил?

— Бред какой-то... Вот ты всегда так... всегда... Пошлость — твой букварь.

— Разноликая!.. Какая же ты все-таки разноликая!

Какой бы она ему ни казалась сейчас, она не хотела, чтобы он видел ее лицо, когда напомнил ей о том, о чем она уже почти забыла, и поэтому направилась к дивану, что стоял в стороне от него. Всего несколько шагов, и она снова почувствовала себя матерью в «Кровавой свадьбе». Всю роль вспомнила. От первого до последнего слова: «И всего-то в ширину ладони, но в живое тело острие, пронизывая дрожью, входит до предела, до того последнего предела, где темно и дико заплетены слепые наши корни сердцевиной крика».

«Кровавая свадьба» тоже была постановкой мужа. Его удачей после очередного застоя — «периода боли», как он сам его называл. А как приветствовали в свое время спектакль в Гранаде, на родине Лорки, как не отпускали со сцены актеров. А потом она исчезла, эта женщина, рекламирующая вакцину, убежала с Климом-Леонардо, совсем как в «Кровавой свадьбе», чтобы ее Климушка вкусил, наконец, от женского тела, а то как-то нехорошо получалось на их трогательной театральной кухне. «Шансонетные» улыбочки, глаза, избегающие попаданий в цель, залившиеся девственной краской, точно от морозца, щеки... Пора было этому всему положить конец. Она даже не думала защищаться от ревности супруга: знала, что ему скажет в случае чего. А он не думал ее ревновать: «нашла себе мужчину», только злился немного, да и то поначалу. Все те два дня, что ее не было с ним, бродил по Гранаде с фотоаппаратом в руках, снимал с высоты Альгамбры белые дома, «будто закрученные ураганом», Альбайсин снимал и Сакромонте,

старика-искусствоведа в черном кашемировом пальто и в шляпе с щедрым уличным напылением, который еще мальчишкой знал Лорку и Маргариту Ксиргу<sup>2</sup>. Его познакомила со стариком Ханна Гусман. Она брала когда-то у него интервью для киножурнала «Ола!». Старик за бокалом хереса разъяснил ему, что такое дуэнде<sup>3</sup>: «Если ты думаешь, что это вдохновение или мастерство и вдохновение, — ты ошибаешься; если тебе, настоящему художнику, вдруг кто-то сказал, что у тебя нет дуэнде (No tienes duende), это хуже, чем пощечина». На его вопрос, можно ли добыть дуэнде, как добывают руду, старик, удивленно вскинув растрепанные брови, ответил: «Дуэнде либо есть, либо его нет. И если его нет, то это беда. Это как если бы ты жил и не жил одновременно. Это — ноль (es un cero a la izquierda)». Тогда он спросил его, возможно ли спастись от этой беды. И старик сказал ему, что есть одна точка в Альгамбре, с которой видно пол-Гранады, стоя на этом месте, на сильном ветру, можно почувствовать дуэнде, разогнать его в себе подобно ветру. Если бы не тот старик из Гранады, он бы не понял, в какую беду угодил. И когда их маленькая труппа отправилась в Кордову, удачно «потерялся», пошел искать то самое место, с которого видны Альбайсин, Сакромонте и горные хребты Сьерры-Невады. Он ждал ветер, который бы открыл ему тайну дуэнде, но ветра не было, и подсказки от старика он тоже так и не дождался. Остались только высота, кем-то взятая в прошлом, и белые дома, закрученные по спирали. Неужели в каждом из них живет свой дуэнде?

Вернувшись в Москву, он повесил несколько гранадских фотографий на кухне и время от времени искал в них дуэнде.

Кухня, казалось, хранила верность всему человечеству, но только не тому, что он не оставлял надежды найти. Все дышало тем несокрушимым покоем, какой появляется на северных кухнях в середине декабря, в морозный день, после шести, когда уже завершён день, заварен второй кофе и разлит в прозрачные фарфоровые чашки, чудом уцелевшие в семейных баталиях до этих дней.

---

<sup>2</sup> Маргарита Ксиргу (1888–1969) — испанская актриса, театральная режиссер. Играла главные роли в пьесах Лорки «Чудесная башмачница», «Йерма» и др.

<sup>3</sup> Дуэнде — трудно определяемое мистическое понятие в испанском искусстве. Термин произошел от первоначального значения — создание, похожее на эльфа или домового в испанской и латиноамериканской мифологии. Здесь обыгрываются некоторые понятия «Теории Дуэнде» Федерико Гарсиа Лорки.

Когда никто не должен позвонить в дверь или по телефону. И не только в связи с карантином.

Она как-то странно устроилась на маленьком кухонном диванчике. Положение всего ее тела говорило о том, что если в России и осталось что-то однозначно прекрасное — наверняка это русский балет, и все женщины в России так или иначе поклоняются ему.

— Ты достойна, быть изображенной на марке, — пошутил он, — на старой марке, вместо королевы Виктории. Хочешь, я воспользуюсь карантином и напишу пьесу, ты будешь играть в ней королеву Викторию?

Чтобы одернуть мужа, она резко произнесла его фамилию, потом вспомнила, что это еще и ее фамилия, и повторила уже мягче.

Воздух из-за их обоюдного молчания казался сонным.

У режиссера сейчас было такое чувство, что из него что-то вывалилось — сердце, печень, еще что-то, он теперь с трудом удерживал в себе то, что было «до» и что было «после». Самому себе казался каким-то поношенным и жалким. И не верил, что это его одряхление можно скрыть хорошим сном, бритьем, свежей рубашкой... даже этой чертовой маской, на которой написано: «Сидим дома». Больше всего в жизни он боялся быть «сбитым летчиком» и, похоже, стал-таки им. Совсем как Гончаров. Даже голос его приобрел гончаровские интонации.

Пришел на кухню кот. Постоял под аркой. Осмотрелся.

Возлег рядом с женщиной. Точно третий по праву. Или по плану.

Женщина начала гладить кота и улыбаться так, как если бы кто-то свыше предложил ей хорошую работу на театре, но с одним условием, которое странным образом оказалось ей по душе.

— Все важное начинается изнутри. — Он не сводил глаз с ее пальцев, тербивших богатую шубу кота.

Он уже снимал фильм. Бесконечный фильм об измене, в котором ее пальцы играли главную роль. Ему не хватало только Вайнштока с его камерой.

— Я помню времена, когда ты уверял меня, что все важное начинается извне.

— Странно, что ты это запомнила, мне казалось, это слишком сложным для тебя.

— Обидеть хочешь?..

— С чего бы?

— Когда между одной сложностью и другой есть время подумать, это уже вроде как и не сложность.

— Чего-чего, а времени у нас было достаточно, чтобы подумать.

Пауза. Ни к селу, ни к городу. Он бы вычеркнул ее под режиссерской лампой жирным плохо заточенным грифелем. Хотя...

Подумал, что в слове «пауза» есть что-то от морщинистой и мудрой ящерицы, которая разделяет мир на две половины, на две заложённые в него программы, и разгоняет в разные стороны.

— Бывают случаи, когда меньше оказывается больше того, на что рассчитывал, полагал. Помнишь, как играла...

— ...Не помню, забыла...

И замолчала.

Кот урчал, когда она окунала в его наэлектризованную шерсть свои длинные, подозрительно ласковые пальцы. (Ему хотелось пересчитать их, эти ее пальцы, потому что казалось, их больше, куда больше.) При этом животное не теряло чувства собственного достоинства. Скорее, наоборот. Кот казался неподкупным судьей, вершителем судеб, да что там — Гончаровым в одомашненном варианте.

Снова молчание. Тяжелое...

Он подумал сейчас о Ханне, о том, догадывалась ли Анна о его связи с Ханной, он представил себе ноги живой Ханны, которые когда-то казались ему не просто голыми — но обнаженными до последней степени обнаженности, как на полотнах старинных мастеров. Такие ноги мужчины часто придумывают себе во сне. Иногда они оказываются ногами их сестер и матерей, и тогда мужчины быстро спохватываются, просыпаются, чтобы сильное течение сна не унесло их в темную связь, за которой маячит страшный суд.

Так было с ним в Гранаде, когда он в поисках дуэнде напился и потерял контроль над собой. Нашел во сне брешь, проснулся и пошел в запаянном уличном фиолете, разбавленном фонарями, к Ханне Гусман. И оказалось, она ждала его. Но возможно ли с таким вожделением думать сейчас о мертвой женщине, не есть ли это чувство — чувство падающего снега, заматающего грехи прошлого, лишаящего тебя последнего слова, последнего вылепленного снежка?

«Может, она и сейчас меня ждет, — ответил сам себе режиссер, — а может, стала моей заступницей пред высшими силами, таким сложным снежным ангелом посреди двора?»

Этой нежно-снежной завесе, этой затянувшейся паузе идут библейские имена.

«Анна или все-таки Ханна?.. Это для испанцев не вопрос, а для меня — нет не читающихся букв».

В школе-студии, когда еще он ничего не знал о Ханне Гусман, он называл свою Анну Ханной, хотя был уверен, что на самом деле она — Анна. Но сегодня это неважно, сегодня это — не суть, это как если бы... Как если бы «А» сплелось с «Х» на его плече, вместо той дымчатой наколки, которую он много лет назад сделал в армии, чтобы, вернувшись, удивить Анну своим мужеством.

Анна, зная о мужестве своего мужа, больше чем он догадывался, встала и подошла к окну. Она любила смотреть на реку, на фонари.

Ах, сколько бы он дал за то, чтобы камера Вайнштока, эта последовательница голландских мастеров, сохранила ускользящее мгновение для вечности.

За окном падал снег, как само таинство брака, как все, что с ним связано.

Снег за окном, шумный скребок дворника и тиканье деревянных часов на стене, подтолкнули режиссера к мысли, что любое умозаключение, высказанное вслух, лишь малая толика той правды, которую он ищет и которая побуждает его говорить.

— Брейгель... — сказал режиссер, вглядываясь в окно, в медленную от холода реку, в чьи-то следы на снегу, как если бы они, эти следы, были его. Как если бы он уже ушел отсюда. От Анны.

— Нет, просто снег, — сказала Анна.

Он подумал, что не знает, как теперь будет жить без этой гибкой линии реки. Без своего отражения в этом окне. К тому же этот чертов карантин... из-за которого закрывают теперь их театр. А театр на карантине — это настоящая трагедия.

— Не помню уже, кто сказал, что русский человек врет, когда говорит о своем стремлении к счастью. Тем не менее...

— Ну да, ну да, я совсем забыла, ты же у нас чистокровный русак?..

— ...Послушай, я же не всегда тебе чижика леплю. Ты открыла тайну, и мы можем оставаться с ней столько, сколько нам заблагорассудится. Все зависит от нас. От тебя и от меня.

Он поймал себя на мысли, что из-за снега, реки, кофе, трижды потушенной сигареты, взбалмошного кота и остановившихся над



кухонным диванчиком икеевских часов не заметил, сказал ли эти слова вслух или только подумал так.

— Ты о чем?..— переспросила его Анна, привычно нахмурилась брови, и в этот момент у нее что-то выпало из рук и разбилось, что именно, он не заметил, не разобрал, быть может, чашка, или блюдце, или еще что-то, что тоже бьется и разлетается в самый неподходящий момент...

Режиссер посмотрел на нее и увидел сначала девочку-подростка, потом женщину-подающую-надежды-актрису, потом — ящерицу.

Подумал, сколько бы еще женщин ни послал ему милосердный бог, их теперь всегда будет две — с учетом ящерицы. И в тот момент, как он так подумал, подул с реки сильный ветер, распахнулась, больно ударившись, форточка, затрепетала и поднялась занавесь, сбежал с кухни кот — жертва неминуемой любви, из пельницы жреческой вертикалью взметнулся пепел, заслуженная артистка беспозвоночно вскинулась, с излишним усердием метнулась закрывать форточку, как это делали героини романтических черно-белых лент, и только пожилой мужчина, ловец ветра, стоял посреди кухни, вглядываясь в автобус на фотографии. Его лицо, освещенное светом фар автобуса, казалось абсолютно счастливым, будто только что с очередным порывом ветра в него вошло то, чего никогда не было и не могло быть.

